



Г. И. ЧУЛКОВ

Достоевский и судьба России

Необычайные события, свидетелями коих мы все являемся, понудили русское общество пересмотреть и переоценить многие идеи и ценности в области политики и социального строительства. Я полагаю, что такому пересмотру и переоценке подлежат не только политические и социальные программы, но и сама русская культура в ее целом. Пора кое-чему подвести итоги, иные надежды наши похоронить, разгадать смысл явлений, мимо которых до сих пор мы проходили равнодушно, и поставить вехи на будущих путях, не утратив нашего беспристрастия и не склонив головы от отчаяния в судный день истории.

Все это нелегкое дело, ибо над Россией висят мрачные тучи. Надо пристально вглядываться во мрак, чтобы угадать когда-то близкие, родные и любимые черты ее лица.

Я не принадлежу к числу тех, кто сомневается в духовном единстве России. И как ни справедливо мнение, что всякое государство раздираемо внутренними противоречиями, на первый взгляд непримиримыми, все-таки эти противоречия не более умаляют единство национальное, чем душевные колебания, сомнения и разнообразные страсти, которые живут в душе отдельного человека. Ведь и каждый из нас спорит сам с собою; в душе каждого из нас противоположные мысли и желания приходят в столкновения, вызывая нередко мучительную боль, страдания и даже смерть, но никто из нас, однако, не сомневается в своем внутреннем единстве, в том, что он — человек, индивидуум, личность, что он в известном смысле единственный, неповторяемый, особенный, что он равен только самому себе.

Так и нация. Так и государство. Как бы внутри его ни боролись классы, группы, партии, все-таки за ним остается право на самоопределение, чего не отрицают даже самые страстные и самые последовательные интернационалисты.

Право на самоопределение может принадлежать только тому, что цельно, едино, самобытно, одним словом, только тому, что определяется как нечто органическое и живое. Только тогда у нас есть основание и право говорить о душе нации и государства. Подобно тому, как мир, природа, космос — не есть случайное и механическое соединение тех или иных элементов, а в своей цельности, по существу, нечто живое и единое, несмотря на видимую свою множественность и болезненный ущерб, так и государство — живет и дышит, подчиняясь внутренним законам.

Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода
В ней есть любовь, в ней есть язык!

Правда, это не для всех ясно, но тем хуже для неразумных:

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнце, зная, не дышит
И жизни нет в морских волнах.

Как же мы относимся к России? Кто она? Если она лишь мертвый слепок и бездушный лик, оправдание ее истории теряет свой смысл. Но это не так, —

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

В ней есть язык, по умному слову Тургенева, «великий и свободный», тот язык, который создан тысячелетней нашей историей; язык, зазвеневший дивно в лад со струнами вещего баяна; язык неумирающих песен народных, украшенный тяжелыми, но драгоценными камнями державинской музыки, светлый и крылатый в поэзии Пушкина, таинственный и благоуханный у Лермонтова, Гоголя и Тютчева, сильный и напряженный у Толстого, страстный, пронзительный и вещий у Достоевского.

Вот залог нашего возрождения. Вот наш меч. И если у нас, хмельных, в недобрый час вырвали из рук меч вещественный, духовного нашего меча вырвать у нас нельзя, пока мы живы, пока не казнили нас.

Но умирают люди. Умирают поэты. Умирают нации и гибнут государства.

А Россия? Жива ли она? Жива ли та, Великая Россия, которую поднял великий Петр «над самой бездной — на высоте уздой железной»? Или бездна, в самом деле, поглотила нас? Или мы выдержали головокружительный полет, по воле гения, лишь на единый миг, ибо двухсотлетний императорский период русской истории — одно только мгновение в истории всемирной? Надо правде смотреть в глаза. Великая Россия сейчас в параличе, как давно уж, по признанию Достоевского, в параличе Восточная Церковь.

Каждый час приносит нам страшные вести о том, что мертвые ее ткани в черной гангрене. Она уже не питается. Кровь медленно, остывая, течет по ее сосудам. Утомленные нервы не чувствуют даже боли, когда ее тела касается острый нож. Врач понимает, что когда больной в жару, а пульс слабеет, значит, сердце работает худо. Это — приближается смерть... Не сознавать этого или молчать о том, что совершается, воистину неразумно и стыдно. Но иные веруют (далее в рукописи зачеркнуто: И к таким верующим принадлежу я), что воля и дух человека могут оказывать чрезвычайное влияние на его плоть, на его тело. Если у человека есть воля к жизни, не все погибло: тело духу покорствуется. И пожирающий тело недуг не может довести свое разрушительное дело до конца, если душа не соблазнилась смертью и не ослабела в злом поединке. (Далее в рукописи зачеркнуто: Жива душа России или нет — это и есть вопрос, который мы избрали темой сегодняшней беседы, ибо судьба Достоевского неразрывно связана с судьбой России.)

Припомним некоторые события и случаи из жизни Достоевского. Пусть эти напоминания будут нам путеводительными маяками. Прежде всего представим себе один ясный, сухой и холодный день в августе месяце 1830 года. Достоевскому было тогда девять лет. Он сидит за гумном, в овраге и выламывает себе из орешника хлыст. И вдруг среди глубокой тишины отчетливый, внятный крик:

— Волк бежит!

В ужасе, боясь не волка, а непонятого крика, бросает мальчуган свой ореховый хлыст и выбегает из оврага на поляну, прямо на мужика, который идет за сохой, подгоняя лошаденку.

Мальчуган кричит, задыхаясь от страха, и цепляется за соху и за рукав мужика.

И вот тогда произошло нечто такое, о чем спустя двадцать лет вспомнил вдруг этот самый мальчуган, ставший взрослым чело-

веком, в обстановке, совсем не похожей на мирную отцовскую деревеньку.

Об этой встрече вспомнил Федор Михайлович Достоевский в страшный час, когда на каторге, в казарме, бушевала пьяная банда злодеев, когда блестели ножи, валялись на жестких нарах избитые до полусмерти буяны и когда ссыльный политический поляк, проходя мимо него, пробормотал с отвращением: «*Je hais ces brigands*». («Ненавижу этих разбойников» (фр.).)

Что же произошло тогда около сохи, за которую судорожно цеплялся испуганный мальчик, ища защиты у бородатого крепостного мужика? Произошло некоторое внутреннее событие немалой значительности. Человек увидел и познал в человеке своего ближнего, самого себя, свое лицо.

Мужик улыбнулся мальчику «длинною», нежною, «материнскою» улыбкою. Он сказал ребенку: «Ну, полно же... Ну, Христос с тобой, перекрестись...»

Он протянул тихонько свой толстый, черный, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до дрожащих губ мальчика.

И звериная морда, померещившаяся галлюцинирующему мальчику, исчезает вдруг, и над ребенком склоняется бородатое лицо мужика:

— Уж я тебя зверю не дам! Ну, Христос с тобой... ну, ступай! — и мужик перекрестил мальчика и сам перекрестился.

Так вот оно какое — лицо русского мужика. И Достоевский не случайно вспоминает о нем на каторге, среди, быть может, таких же мужиков, таящих у себя в сердце Христа, несмотря ни на что.

«Конечно, — говорит Достоевский, — всякий бы ободрил мальчика, но тут, в этой уединенной встрече, случилось как бы что-то совсем другое, и если бы я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлую любовью взглядом...»

Этого не мог понять повстанец-поляк, пробормотавший брезгливо: «*Je hais ces brigands*».

Чтобы разгадать народничество Достоевского, достаточно припомнить и оценить эту его детскую встречу с крепостным мужиком. И, пожалуй, эта сцена может служить ключом вообще к мироотношению Достоевского. Все его романы — разве это не мистический страх перед загадочным зверем, и разве он не ищет спасения от этого ужасного зверя у христоролюбивого простеца?

Христоролюбивый простец, по представлению Достоевского, становится уже богоносцем, Христофором. (Далее в рукописи

зачеркнуто: Который, кстати сказать, в одном из вариантов легенды является, как известно, с песьей головой — с головой зверя.)

Человек-зверь в новой метаморфозе неожиданно раскрывает свою добрую сущность, свое христололюбивое сердце. В каторжанине, убийце и насильнике, Достоевский увидел и разгадал того самого мужика, который благословил его именем Христа и завещал ему не бояться зверя.

Надо припомнить ту мрачную и жуткую ночь, когда русский дворянин, Николай Всеволодович Ставрогин, член партии коммунистов-интернационалистов, пришел к Шатову, бывшему члену той же самой партии, отказавшемуся от нее в конце концов. Незадолго до этой ночной встречи Шатов, сын крепостного человека, публично ударил по лицу дворянина Ставрогина. И тот стерпел обиду. Забывать этого обстоятельства не следует при оценке знаменательного ночного разговора. Я решаюсь напомнить этот диалог, потому что едва ли не все мысли Шатова повторяет Достоевский в своем «Дневнике писателя» — иногда с буквальной точностью. Значит, если Шатов не двойник Достоевского, то, во всяком случае, он один из самых близких ему людей, да и Николай Всеволодович кое в чем не так уж чужд Федору Михайловичу Достоевскому. Какова же сущность мыслей Шатова, которые автор «Дневника» развивает с такою страстной настойчивостью?

К ним стоит прислушаться.

«Атеист не может быть русским»; «атеист тотчас же перестает быть русским». Это — первое. И далее: «Народ это — тело Божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого...»

«Так веровали все с начала веков, все великие народы, по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против фактов идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дожидаться Бога истинного и оставили миру Бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство...»

«Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истинною, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ...»

«Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинно-

го, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ «богоносец», это — Русский народ...»

Такие идеи Достоевский влагал в уста Шатова. Но вот что любопытно: учителем Шатова был сам Николай Всеволодович, а ведь Николай Всеволодович Ставрогин почти одновременно внушал Кириллову совсем иные идеи, те идеи, которые жадно воспринял, усвоил и на новый лад провозгласил великолепный немецкий артиллерист Фридрих Ницше, чьи фанфары все еще звучат в ушах иных российских простецов, как благая весть из мудрейшей страны.

Все это надо сопоставить, не забывая, что за кулисами идет работа наших коммунистов: готовится убийство Шатова, а Ставрогина берегут пока, ценя в нем «необыкновенную способность к преступлению». Когда понадобится царевич, Николай Ставрогин явится желаннейшим кандидатом на сей двусмысленный престол.

Русские коммунисты, утвердившись на безбожии и, значит, не считаясь с идеями нравственными ни в какой мере и никогда, разумеется, не были брезгливыми в выборе средств. Идея самозванца не была чужда и Михаилу Бакунину. Ее приятие совершенно согласуется с ходом и развитием нашей истории. В самом деле, наше русское самодержавие в самом существе своем отрицало идею права. Оно упорствовало в этом отрицании. И как естественная реакция на это самодержавие всегда в русской истории возникала пугачевщина. На протяжении двух столетий после Петра самодержавное правительство боролось с бунтарями, приходившими из глубины народа, от его корней — и всегда под знаменем какого-нибудь самозванца. Самодержавие провоцировало пугачевщину, пугачевщина порождала самозванца. Западноевропейское понимание государственности как правопорядка не находило себе почвы в русской действительности, и надо было быть слепыми, чтобы надеяться на благополучный исход большой русской революции. При отсутствии в народе правосознания революция должна была непременно и неизбежно прийти к пугачевщине. В этом виновата вся история государства русского, все мы, без исключения, наши предки и современники, и было бы несправедливо возлагать ответственность за все на какую-либо одну группу или партию.

Но Достоевский? Кто он? Он сам плоть от плоти России, он в ее духе, в ее гениальном порыве и в ее постыдном падении. Он и Шатов, и Ставрогин, но за всеми этими личинами есть иное лицо, как за безобразными масками современной России таится

иной ее лик. Еще раз повторяю, судьба Достоевского — судьба Великой России.

И в этом плане надо рассматривать сейчас духовную биографию загадочного писателя. И в этом плане мы, быть может, увидим яснее сокровенное в символе народа-богоносца.

Упрощенное официальное истолкование творчества Достоевского мы находим у Белинского. Впоследствии мнение о Достоевском, как о покорном власти реакционно настроенном славянофильствующем националисте, довольно прочно утвердилось в среде (в тексте описки, не исправленная и попавшая в печатный текст: средней) господствующей критики. Владимир Соловьев и символисты (далее зачеркнуто: в лице Мережковского и потом Вячеслава Иванова) понудили нас переоценить общепринятое воззрение на художника, значение которого измерялось будто бы его тонким психологизмом и отчасти — по Белинскому — гуманитарною проповедью. Правда, иные заметили в нем «жестокий талант», но и это наблюдение скользило по поверхности, не затрагивая самого существа темы.

А существо темы требовало пересмотра не только идеи и психологии Достоевского, но раскрытия внутренней связи между его верованиями и характером русского народа. Теперь, после опыта 1917 года, у нас есть основание с уверенностью утверждать, что Достоевский был не славянофилом, а кем-то иным, чьи пророчества имеют особое значение.

Примечательно, что Шатов после своего утверждения, что «единый народ «богоносец», это — Русский народ», обращаясь к Ставрогину, вдруг «неистово завопил»: «Неужели вы меня почитаете за такого дурака, который уж и различить не умеет, что слово его в эту минуту или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения?..»

Это неистовое восклицание Шатова не случайно. И сам Достоевский не был одним из тех славянофилов, которые взяли всю свою концепцию национального мессианизма у тех же немцев, у того же Фихте.

Достоевский был сам по себе. И чрезвычайно существенно то, что он, несмотря на всю свою запальчивую полемику с российскими коммунистами-интернационалистами, всегда был, по свидетельству Н. Н. Страхова, социалистом прежде всего. Но и без свидетельства этого близкого ему человека, из литературного наследия, оставленного Достоевским, можно прийти

к заключению, что проблема социализма занимала его ум решительно и неизменно. Но его социализм был Христов, а не антихристов.

Однако вернемся к нашим путеводительным маякам — к биографии Достоевского.

Представьте себе вечер у петрашевцев. Несмотря на разнообразие настроений и взглядов тогдашних социалистов, увлекавшихся Фурье, перед всеми с одинаковой остротой возникал вопрос о ближайшей преграде к осуществлению политических и социальных чаяний — вопрос о крепостном праве. Представьте себе Федора Михайловича Достоевского. Ему двадцать семь лет. Он читает «Деревню» Пушкина. Читает он, по свидетельству очевидцев, как-то особенно — с какой-то странной страстью, заражая слушателей своим волнением, скандируя стихи нараспев, мудро храня все особенности ритма. Представьте себе, как звучит этот голос непонятого товарищам фурьериста:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца;
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.

И далее:

О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне в удел витийства грозный дар?
Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя...

Как? По манию царя? Да, да — непременно, «по манию царя»!
Кто-то спрашивает:

— Ну, а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе, как чрез восстание?

— Так хотя бы чрез восстание! — кричит Достоевский, бледнея и стукнув кулаком по столу.

Так душевное подполье Достоевского соприкасается с тем подпольем, где готовилась почти сто лет русская революция.

Двадцать третьего апреля 1849 года Достоевский воротился домой после одного собрания в четвертом часу ночи, лег спать

и тотчас же заснул. Потом, сквозь сон, он услышал, как брякнула сабля. Он привстал с кровати:

— Что случилось?

— По повелению...

Рядом стоял голубой мундир Феодора Михайловича Достоевского, смущавшего товарищей своей верою во Христа, уповавшего на реформы по «манию царя», народолюбца и патриота, отвезли в крепость.

В номере «Русского Инвалида» от 22 декабря 1849 года напечатано было следующее: «Пагубные учения, породившие смуты и мятежи во всей Западной Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем отечестве... Горсть людей, совершенно ничтожных, большею частью молодых и безнравственных, мечтала о возможности попать священнейшие права религии, закона и собственности...»

В тот же день в шесть часов утра заключенные в крепости петрашевцы слышали в коридоре шум, шаги, говор. Достоевскому приказали одеться и вывели из камеры. Его посадили в карету и повезли. Был мороз и сквозь обледенелые окна кареты нельзя было разобрать дороги.

— Куда везут?

— Не приказано сказывать.

Кареты остановились на Семеновском плацу. На эшафот вышел аудитор и прочел приговор: «приговорен к смертной казни расстрелянием». Потом взошел священник с крестом. Приговоренных привязали к столбам. Взвод солдат взял ружья на прицел.

Достоевский в эти мгновения упорно смотрел на золотой купол Семеновской церкви, где горели яркие солнечные лучи. «Ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через какие-нибудь три минуты сольется с ними». Неизвестность была ужасна. Что если бы не умирать, что если бы воротить жизнь! Какая бесконечность!

Но вот махнули платком, ударили отбой. «Его Императорское Величество дарует жизнь...»

«Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? — спрашивает один из героев романа Достоевского: — Нет, с человеком так нельзя поступать...»

Между прочим, один из товарищей Достоевского по эшафоту, когда его отвязали от столба, сошел с ума. Федору Михайловичу Достоевскому умственные способности не изменили, но этот невольный опыт предвосхищения смерти был для него вторым

событием, не менее значительным, чем в детстве встреча с мужиком, который, перекрестив, защитил его от таинственного и страшного зверя.

Третий внутренний опыт Достоевского, испытанный им во вторую половину его жизни и многократно повторявшийся, был опыт священной болезни. Перед припадком «на несколько мгновений, — признавался Достоевский, — я испытываю такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд этого блаженства можно отдать всю жизнь». «Самому мне довелось раз быть свидетелем, как случился с Федором Михайловичем припадок, — рассказывает Н. Н. Страхов, — это было в 1863 году, как раз накануне Светлого Воскресения. Поздно, часу в 11-м, он зашел ко мне и мы оживленно разговорились... Это был очень важный и отвлеченный предмет... Он говорил что-то высокое и радостное... Он обратился ко мне с вдохновенным лицом... Он остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли... Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол». Начались судороги, на углах губ показалась пена...

Христолюбивый простец мужик, благословляющий Достоевского на бесстрашный жизненный путь; слепая, мрачная и беспощадная государственность, понудившая его взойти на эшафот и заглянуть в лицо смерти; священная пророческая болезнь, обручившая его душу с несказанного, неземною тайною: вот эти три опыта определили судьбу Достоевского.

Первый опыт привел Достоевского к признанию народной правды и к неосторожному признанию одного народа богоизбранным — телом Христовым; второй опыт увлек Достоевского на отрицание всякой государственности, основанной на принуждении, то есть к своеобразному религиозному анархизму, ибо самодержавие, признаваемое Достоевским, воображаемое и в действительности никогда не существовавшее, в его понимании, было лишь символом органического непринудительного порядка, куполом коммунистического христианского общества; наконец, третий опыт — его эпилептический экстаз — дал ему дар прозрения. Воистину, он мог сказать, как пушкинский пророк:

И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет.

Да, воистину Достоевский «лежал в пустыне, как труп», чтобы в урочный час восстать, повинаясь воле Бога, и, «обходя моря и земли», глаголом жечь сердца людей.

Возможны два понимания исторического процесса — эпическое и трагическое. Когда мы смотрим на историю эпически, мы не видим в ней ни начала, ни конца. Тогда у нас является идея прогресса, надежда на закономерное развитие общества; мы желаем оправдать настоящие скорби и страдания будущим возможным благом; мы готовы признать в мире какое-то прочное и устойчивое начало; поток событий мы стремимся разгадать, как некий план, подчиняя его искусственно и условно в нашем воображении субъективной логике. Когда мы смотрим на историю трагически, мы не сомневаемся в том, что в ней будет развязка, конец, подобно тому, как было в ней и начало; идея прогресса, как накопление благ и ценностей, теряет свой смысл; страдания и ущерб мировой жизни — при трагическом взгляде на историю — не могут быть оправданы счастьем будущих поколений; ничего прочного и устойчивого в этом мире вовсе нет с трагической точки зрения; наконец, поток событий представляется неразгаданным до тех пор, пока он вдруг не явится, как некое начало «вне времени».

При эпическом отношении к истории ее внутреннее содержание по существу утрачивает всякий смысл. Погибшие поколения, безмерные муки мятущихся народов, крушения культур — все остается не оправданным, ибо ведь нельзя строить счастье будущего человечества на позоре и страдании поколений, ушедших в темную могилу.

«Только то и крепко, подо что кровь протечет». «Только забыли негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют, — пишет Достоевский на листке своей записной книжки. — Вот он закон крови на земле».

При трагическом отношении к истории все события мировой жизни мы рассматриваем как нечто совершающееся во временном единстве. Мы ждем развязки. Мы ждем конца. Мы ждем очищения, оправдания, катарсиса. Тогда все страдания, весь ужас и кровь истории приобретают значение неслучайной жертвы. Тогда все возносится к единому центру, к Голгофе, к крестной смерти и воскресению.

Или мы должны примириться с бессмысленностью истории, принять, не переоценивая, нелепую и подлую смену гнусных

явлений классовой и личной вражды, то жалкое торжество эксплуататорских социальных групп, то не менее жалкое торжество черни — в нерадостной и нетвердой надежде, что когда-нибудь наладится более или менее социальное равенство в ущерб культурной сложности и при постыдном сознании, что все здание построено на костях замученных детей, распятых праведников, обманутых и убитых девушек, тени которых будут бродить вокруг нас, как грозное *memento mori*, (помни о смерти (*лат.*)), требуя отмщения.

Так думал и верил Достоевский. Его мироотношение было воистину трагическим. Но ведь трагедия предполагает, что в мире есть душа, что космос — «не слепок, не бездушный лик», что эта душа стремится, воплощаясь, соединиться с тем бессмертным началом, имя которому — страдающий и воскресающий Бог.

Как? Достоевский верил в Бога? И современники говорили ему: «Ты — безумен. Ты забыл, что был великий век Просвещения, разрушивший наивные верования, что философский скептицизм и научный позитивизм победили все мифы и легенды, что последнее слово тончайшей немецкой гносеологии вырвало с корнем идею личного живого Бога. На что же ты надеешься, безуменный?» И те же самые слова обращают к его тени наши современники, даже с тою же интонацией, с тем же раздражением, озлоблением и ненавистью. (Далее в рукописи зачеркнуто: Вы помните, как совсем недавно небезызвестный писатель вел целую кампанию против Достоевского.) И теперь иногда говорят о Достоевском с такою страстной запальчивостью, как будто ненавистный пророк жив, и надо побить его камнями сегодня, ибо он опасен и страшен. Его опять возводят на эшафот, как семьдесят лет тому назад. Тогда глумился над ним самодержавный царь, сегодня глумится над ним умственная чернь, имущая или неимущая — не все ли равно? Его, мертвого, хотят снова убить, в рабском страхе угадывая, что его голос из могилы все так же опасен — и для безбожных монархов, и для безбожной толпы.

А Достоевский на страницах своей записной книжки, не предназначенной вовсе для печати и читателей, писал:

«Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которое пережил я. Им ли меня учить!»

Это правда. Им ли его учить! Достоевский, как Паскаль, приобрел право на веру в Бога и Христа ценою необычайного опыта сомнений и отрицаний, перед которыми бледнеет поверхностный скептицизм всех философствующих атеистов.

Если мы станем рассматривать три идеи Достоевского — идею «народа-богоносца», идею «мистического самодержавия» и, наконец, его идею «страдающего и воскресающего Бога» — в плане эпического понимания истории, все эти три идеи потеряют всякий смысл и значение: народ-богоносец перестает быть таковым со всякою новою историческою обстановкою, ибо при эпическом понимании мира все относительно и нет единой истины, есть лишь слепая смена случайных верований; мистическое самодержавие, никогда в истории не существовавшее, превращается или в диктатуру гения, как это было с самодержавием Великого Петра, или в гнусный деспотизм какого-нибудь безответственного монарха вроде Петра Третьего; наконец, идея «страдающего и воскресающего Бога» умалывается до степени исторического мифа, лишённого абсолютного и вселенского значения.

Но если мы будем рассматривать эти три идеи в плане трагического понимания истории, все они приобретут непреходящее значение: народ-богоносец явится нам лишь как один из аспектов всего человечества, всей живой земли, стремящейся к вечному солнцу; мистическое самодержавие, лишённое своих относительных атрибутов, выразит символически христианскую общину с пастырем во главе, которая может найти свое воплощение лишь в последнее мгновение истории; а третья, все предопределяющая идея, засияет немеркнущим светом, как вечная правда Голгофы и единого чуда, в котором разрешаются все земные противоречия.

Но трезвые люди, люди так называемого здравого смысла, скажут с негодованием: «Какое нам дело до этих безумных идей? На что нам Голгофа и Христос? И если даже в этих идеях была какая-нибудь правда, как их связать с повседневностью, с реальною политикою, например?»

Они правы, эти люди здравого смысла: связать эти безумные идеи с реальною политикою нельзя. Но история движется не только путями реальной политики. История прерывиста, в истории мы видим не только эволюционную последовательность, но и судные дни катастроф и революций. Революция всегда находит свой конец в реакции, но мятеж не проходит бесследно. Он неизменно сеет семена бури, которая вновь и вновь рождается и колеблет мнимую прочность государственного и социального порядка.

Революция питается максимализмом. Но разные бывают революции: внешние и бесплодные, — и внутренние, чреватые духовными богатствами. Достоевский был таким революционером и таким максималистом, перед пламенным лицом которого кажутся жалкими и тусклыми огнями все костры самых буйных и кровавых революций. Коммунисты-атеисты воображают, что, отрицая материализм буржуазного порядка, они дошли до предела революционного максимализма. Но эта — по выражению Достоевского — «коротенькая и тупенькая» мысль вовсе не максимализм, а лишь смешной компромисс с исторической действительностью. И нередко вместо реальной политики мы видим лишь дурную политику, вместо торжества одних буржуев — торжество буржуев новых, что едва ли содействует благу и приближает человечество к последней и верховной цели.

Достоевский боролся с буржуазностью мира не только материально. Посетив Париж после подавления коммуны <18> 71 года, он с отвращением наблюдал самодовольство мещан-победителей, но с не меньшим отвращением он следил за пропагандой атеистического коммунизма, который, сражаясь за земную правду, терял правду Христову.

Трезвые люди правы: мироотношение Достоевского и его идеи никак не сочетаются с реальной политикой, а если в этом направлении иные пытались делать опыты, такие опыты приводили к печальным последствиям: мистическое самодержавие превращалось в бюрократический абсолютизм, вера в народа-богоносца мирилась с реакционным национализмом, христианская идея никла и умалялась на путях восточного православия.

Но все эти опыты — суть провокация и ложь. Достоевский был величайшим максималистом, а максимализм, всякий максимализм, никогда не может быть связан с реальным политическим и социальным строительством.

Максимализм всегда катастрофичен, а его предел — анархия. Какая уж тут реальная политика!

Искать непосредственного приложения идей Достоевского к политическому плану так же странно, как странно было бы с точки зрения реальной политики оценивать откровения святого Иоанна, пророчества Исаяи или Fioretti Франциска Ассизского.

Да, Достоевский был последовательным и непримиримым врагом буржуазного мира. Но что он разумел под буржуазностью? Он разумел под ней самодовольное и ограниченное прятие этого мира, с его слепую косностью, алчностью, лицемерием, предательством, компромиссами и безбожием. Буржуа тот,

кто полагает предел человеку в корыстном владении земными материальными благами, кто ограничивает человека ближайшими и внешними целями, кто не чувствует ответственности за все и за всех, кто не видит в истории трагедии и не понимает мистерии Голгофы.

Но гений Достоевского не был отвлеченным гением. Он был, по собственному признанию, «реалистом в высшем смысле». Вот почему буржуа всех типов и категорий, имущие и неимущие, все равно ненавидели его и боялись. Враги Достоевского чувствовали и чувствуют, что он обладает какою-то наиреальнейшею правдою, таинственной и недоступною для них.

Какая же это правда? Это — правда о земле, земле живой и в существе своем святой — той земле, которую целовал Алеша после кончины старца Зосимы, рыдая, и которую клялся любить во веки веков. Над ним тогда широко необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною. «О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже не об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился исступления сего...» «Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом...»

Таким бойцом был и сам Достоевский, рыцарем Святой Земли, рыцарем неумирающей Прекрасной Дамы, как благороднейший и мудрейший Дон-Кихот, как князь Мышкин, кому трезвые буржуа со злорадством дали прозвище идиота.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму...

Видения и призраки окружали Достоевского. Смысл, значение и реальное содержание этих привидений мы знаем давно. То, что призраки не всегда суть субъективная иллюзия, мы убедились после наших бесед с господином Свидригайловым. Его диалектике мог бы позавидовать, пожалуй, тончайший из немецких гносеологов.

Но среди всех этих вещей видений одно видение «непостижное уму» приобретает для нас особенное значение: это — видение Прекрасной Матери-Земли или в иной ее метаморфозе — Земли-Невесты, чьи многоликие отражения возникают непрерывно в загадочных повествованиях Достоевского. Эта невеста Христова, чающая прихода своего желанного жениха, является нам то в образе юродивой хромоножки, Марьи Тимофеевны, то в об-

разе таинственной Настасьи Филипповны. Душа мира — душа родины — душа живой воплощенной личности — вот три аспекта одной и той же сущности.

Родина, земля родная! С нею была связана судьба Достоевского. И к ней относятся его пророчества. Юродивая и мудрая Марья Тимофеевна — сама страдающая Россия. Она тщетно ждет своего освободителя — и вот он приходит, наконец. Кто же он? Это все тот же ее странный обольститель — не то революционер, интернационалист, коммунист, не то великий провокатор — Николай Всеволодович Ставрогин.

Вот он входит в ее убогое, нищее жилище. Он застаёт ее спящей. Спит юродивая. Спит Россия. Он должен разбудить ее от ее тяжелого сна. Она просыпается и видит загадочного гостя, и странный испуг на ее лице.

«Он продолжал стоять на том же месте у дверей; неподвижно и пронзительным взглядом, безмолвно и упорно всматривался в ее лицо. Может быть, этот взгляд был излишне суров, может быть, в нем выразилось отвращение, даже злорадное наслаждение ее испугом...»

Но гость опомнился.

«— Виноват, напугал я вас, Марья Тимофеевна, нечаянным приходом.

Улыбка робко шевельнулась на ее губах.

— Здравствуйте, князь, — прошептала она, как-то странно в него вглядываясь.

— Должно быть, сон дурной видели? — продолжал он все приветливее и ласковее улыбаться.

— А вы почему узнали, что я про это сон видела?

И вдруг он опять задрожал.

— Полно, чего бояться, неужто вы меня не узнали?

Но она уже как будто узнала его.

— Зачем появились? Скажите, пожалуйста, — прошептала Марья Тимофеевна, пристально его рассматривая.

— Я слышал, будто вам худо было жить без меня. Не хотите ли, Марья Тимофеевна, опять в монастырь?

— Эка невидаль мне ваш монастырь! Поздно мне третью жизнь начинать!

— Вы за что-то очень сердитесь, уж не боитесь ли, что я вас разлюбил?

Она презрительно усмехнулась:

— Я сама боюсь, чтобы кого очень не разлюбить». И она опять не узнает своего странного гостя.

«— Слыхала я, что все в заговоре — неужто и он? Неужто и он изменил?»

Вот она вглядывается в него:

«— Встаньте, князь...

— С чего вы меня князем зовете и... за кого принимаете?

— Как? Разве вы не князь?

— Никогда им и не был.

Она засмеялась ему в лицо.

— Похож ты... Очень на него похож... Господи! А я-то сколько лет его ждала! А это вовсе не он... Сокол мой где-то там, за горами, живет и летает, на солнце взирает... Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился?

— У, идиотка! — проскрежетал он в ужасе.

— Прочь, самозванец! Не боюсь твоего ножа!

— Ножа?

— Да, ножа! У тебя нож в кармане. Ты думал, что я спала, а я видела, все видела...

— Что ты сказала, несчастная! — крикнул он и бросился бежать.

Но она успела ему прокричать, с хохотом, вслед в темноту:

— Гришка От-репъ-ев, анафема!»

Я полагаю, что этот разговор безумной невесты с ее женихом, гражданином кантона Ури, может служить подлежащим заключением нашей статьи о судьбе Достоевского и судьбе России.

